

Богомоллов Владимир Осипович. Зося

Был я тогда совсем еще мальчишка, мечтательный и во многом несмышленный...

После месяца тяжелых наступательных боев - в лесах, по пескам и болотам, - после месяца нечеловеческого напряжения и сотен смертей, уже в Польше, под Белостоком, когда в обескровленных до предела батальонах остались считанные бойцы, нас под покровом ночи неожиданно сняли с передовой и отвели - для отдыха и пополнения в тылах фронта.

Так остатки нашего мотострелкового батальона оказались в небольшой и ничем, наверно, не примечательной польской деревушке Новы Двур.

Я проснулся лишь на вторые сутки погожим июльским утром. Солнце уже поднялось, пахло медом и яблоками, царила удивительная тишина, и все было так необычно, что несколько секунд я оглядывался и соображал: что же произошло?.. Куда я попал?..

Наш тупорылый «додж» стоял в каком-то саду, под высокой ветвистой грушей, возле задней стены большой и добротной хаты. Рядом со мной на сене в кузове, натянув на голову плащ-палатку, спал мой друг, старший лейтенант Виктор Байков. Еще полмесяца назад и он и я командовали ротами, но после прямого попадания мины в командный пункт Витька исполнял обязанности и командира батальона, а я - начальника штаба, или, точнее говоря, адъютанта старшего.

Я спрыгнул на траву и, разминаясь, прошелся взад и вперед около машины.

Сидя на земле у заднего ската и держа обеими руками автомат, спал часовой - молоденький радист с перебинтованной головой: последнюю неделю из-за нехватки людей мы были вынуждены оставлять в строю большинство легкораненых, впрочем, некоторые и сами не желали покидать батальон.

Я заглянул в его измученное грязное лицо, согнал жирных мух, ползавших по темному пятну крови, проступившей сквозь бинты; он спал так крепко и сладко, что я не решился - рука не поднималась - его разбудить.

Обнаружив под трофейным одеялом в углу кузова заготовленную Витькиным ординарцем еду, я с аппетитом выпил целую крынку топленого молока с ломтем черного хлеба; затем достал из своего вещмешка обернутый в кусок клеенки однотомник Есенина, из Витькиного - полпечатки хозяйственного мыла и, отыскав щель в изгороди, вылез на улицу.

Мощенная булыжником дорога прорезала по длине деревню; вправо, неподалеку, она скрывалась за поворотом, влево - уходила по деревянному мосту через неширокую речку; туда я и направился.

С моста сквозь хрустальной прозрачности воду отлично, до крохотных камешков проглядывалось освещенное солнцем песчаное дно; поблескивая серебряными чешуйками, стайки рыб беззаботно гуляли, скользили и беспорядочно сновали во всех направлениях; огромный черный рак, шевеля длинными усами и оставляя за собой тоненькие бороздки, переползал от одного берега к другому.

Шагах в семидесяти ниже по течению, стоя по пояс в воде, спиной к мосту и наклонясь, сосредоточенно возились трое бойцов; в одном из них я узнал любимца батальона гармониста Зеленко, гранатометчика, только в боях на Днепре уничтожившего четыре вражеских танка. Тихонько переговариваясь, они шарили руками меж коряг и под берегом: очевидно, ловили раков или рыбу.

Около них на ветках ивняка сохло выстиранное обмундирование. Там же, на берегу, над маленьким костром висели два котелка; на разостланной шинели виднелись банка консервов, какие-то горшки, буханка хлеба и горка огурцов.

Бойцы были так увлечены, а мне в это утро более всего хотелось побыть одному - я не стал их окликать и, спустясь к речке по другую сторону дороги, пошел тропинкой вдоль берега.

День выдался отменный. Солнце сияло и грело, но не пекло нещадно, как

всю последнюю неделю. От земли, от высокой сочной луговой травы поднимался свежий и крепкий аромат медвяных цветов и росы; в тишине мерно и весело, с завидной слаженностью трещали кузнечики.

Голубые, с перламутровым отливом стрекозы висели над самым зеркалом воды и над берегом; я было попытался поймать одну, чтобы рассмотреть хорошенько, но не сумел.

С удовольствием вдыхая чудесный душистый воздух, я медленно шел вдоль берега, глядел и радовался всему вокруг.

Как может перемениться жизнь человека! Просто даже не верилось, что еще недавно я, изнемогая от жары, напряжения и жажды, сидел в пулеметном окопчике на высоте 114 (я стрелял лучше других и в бою, когда мог, всегда брался за пулемет) и короткими отрывистыми очередями косил рослых, как на подбор, немцев из танковой гренадерской дивизии СС «Фельдхернхалле», перебежавших и упрямо ползших вверх по склону.

Как-то не верилось, что совсем недавно, когда кончились патроны, не осталось гранат и десятка три немцев ворвались на высоту в наши траншеи, я, ошарив от удара прикладом по каске и озверев, дрался врукопашную запасным стволом от пулемета; выбиваясь из сил и задыхаясь, катался по земле с дюжим эсэовцем, старавшимся - и довольно успешно - меня задушить, а затем, когда его прикончили, зарубил немца-огнеметчика чьей-то саперной лопаткой.

Все это было позавчера, но оттого, что я сутки спал и только проснулся, оттого, что это были самые сильные впечатления последних дней, мне казалось, что бой происходил всего несколько часов тому назад.

Я не удержался, раскрыл на ходу томик и начал было вполголоса читать, однако тут же решил покончить сперва со всем малоприятным, но неизбежным. На небольшом песчаном пляжике я скинул сапоги, быстро разделся и дважды старательно выстирал грязные, пропитанные потом, пылью, ружейным маслом и чьей-то кровью гимнастерку и шаровары, ставшие буквально черными портянки и пилотку. Затем, крепко отжав, развесил все сушиться на ветках орешника,

спустился в воду и, простирнув самодельные плавки, начал мыться сам. Я намылился и со сладостным ожесточением принялся скрести ногтями голову и долго скоблил и тер все тело песком, пока кожа не покраснела и не покрылась кое-где царапинками. Последний раз я мылся по-настоящему недели три назад, и вода около меня, как и при стирке, сразу сделалась мутновато-темной.

Потом я плавал и, ныряя с открытыми глазами, гонялся в прозрачной воде за стайками мальков и доставал со светлого песчаного дна раковины и камешки; самые из них интересные и красивые я отобрал, решив, пока мы будем здесь находиться, составить небольшую коллекцию. Дома, в Подмосковье, у меня хранился в сенцах целый сундук всяких необычных камешков и раковин - собирать их я пристрастился еще в раннем детстве.

Немного погодя я вышел на берег, ощущая бодрость и приятную легкость во всем теле и чувствуя себя точно обновленным. Перевернув на ветках орешника быстро сохнувшие гимнастерку и шаровары, я со спокойной душой взял наконец книжку.

Я любил и при каждой возможности читал стихи, но Есенина открыл для себя недавно, когда в начале наступления, в развалинах на окраине Могилева, нашел этот однотомник; стихи поразили и очаровали меня.

На передовой я не раз урывками, с жадностью и восторгом читал этот сборничек, то и дело находя в нем подтверждение своим мыслям и желаниям; многие четверостишия я знал уже наизусть и декламировал их (чаще всего про себя) к месту и не к месту. Но отдаться стихам Есенина безраздельно, в покойной обстановке мне еще не доводилось.

Я начал читать, то заглядывая в книжку, то по памяти; начал с ранних, юношеских стихотворений:

...Ах, поля мои, борозды милые,

Хороши вы в печали своей!

Я люблю эти хижины хилые

С поджиданьем седых матерей.

...Ой ты, Русь, моя родина кроткая,

Лишь к тебе я любовь берегу.

Весела твоя радость короткая

С громкой песней весной на лугу.

Светлая речка в берегах, поросших ивняком, скошенный луг со стожками зеленого сена и молодыми березками на той стороне, золотистые ржи, уходящие к самому горизонту, и даже небо, светло-синее, с перистыми, прозрачно-невесомыми облаками - все до боли напоминало исконную срединную Россию и больше того - подмосковную деревушку, где родилась моя мать и где прошло в основном мое детство. И потому все вокруг было удивительно-созвучно стихам Есенина, его восторженной любви к родному краю, к раздолью полей и лугов, к русской природе и человеку.

С волнением я читал, вернее, увлеченно декламировал, размахивая рукой и повторяя по два-три раза то, что мне более всего нравилось:

...Много дум я в тишине продумал,

Много песен про себя сложил,

И на этой на земле угрюмой

Счастлив тем, что я дышал и жил.

Счастлив тем, что целовал я женщин,

Мял цветы, валялся на траве

И зверье, как братьев наших меньших,

Никогда не бил по голове...

Ах, до чего же хорошо, до чего же здорово!.. Я читал и читал, нараспев, взахлеб, растроганный до слез и забыв обо всем.

...Жизнь моя, иль ты приснилась мне?

Словно я весенней гулкой ранью

Проскакал на розовом коне...

Очарованный, я был как в забытьи, и не знаю даже, почему обернулся - сзади меж двух орешин стояла и с любопытством смотрела на меня невысокая

необычайно хорошенькая девушка лет семнадцати.

Она не смеялась, нет; лицо ее выражало лишь любопытство или интерес, но в глазах - зеленоватых, блестящих, загадочных, - как мне показалось, прыгали смешинки.

Я крайне смутился, и в то же мгновение она исчезла. Я успел разглядеть маленькие босые ноги и крепкую ладную фигурку под полинялым платьицем, из которого она выросла; успел заметить корзинку в ее руке.

Она появилась словно бы мимолетом и исчезла внезапно и неслышно, как сказочное видение. Понятно, я не верил в чудеса, и мне подумалось даже, что она спряталась в орешнике. Я проворно натянул шаровары - смешно же, наверно, я выглядел со своей декламацией в самодельных, из портяночного материала плавках - и обошел весь кустарник, не обнаружив, однако, ни девушки, ни каких-либо видимых ее следов.

В раздумье вернулся я на берег, раскрыл томик и начал было снова читать, но не мог - мне вроде чего-то не хватало. Ну что за чертовщина; собственно говоря, - чего?.. И вдруг со всей ясностью я осознал, что мне страшно хочется еще увидеть эту девушку, хоть на минутку, хотя бы одним глазком.

Я даже спрятался, присев под кустом, и прислушивался, надеясь, что, быть может, она появится. В самом деле, почему бы ей вновь не прийти сюда?.. Да что я ее съем или обижу?..

По-весеннему радостно звучало тихое птичье щебетание; в траве по-прежнему весело и неумолчно стрекотали кузнечики; но ни звука шагов, ни шороха я, как ни силился, уловить не смог.

Единственно, что я вскоре различил, - негромкий, нарастающий шум мотора. Спустя какую-то минуту, оборотясь, я увидел медленно ехавший через мост «виллис»; в офицере на переднем сиденье я сразу узнал командира нашей бригады подполковника Антонова. Живо сообразив, какая получится неприятность, если подполковник застанет и часового и комбата

спящими, я с лихорадочной быстротой оделся, натянул сапоги и, на ходу поправляя и одергивая еще влажные местами гимнастерку и шаровары, во весь дух помчался к деревне.

Грешным делом я почему-то надеялся, что командир бригады проследует, направляясь в другой батальон, или же, не заметив наш «додж», проедет в конец деревни, и я успею добежать. Но увы... Выскочив на улицу, я увидел машину комбрига возле дома, где мы остановились.

Я не успел дойти до калитки, как со двора появился подполковник - высокий, молодцеватый, в свежих, тщательно отутюженных шароварах и гимнастерке с орденскими планками, в новенькой полевой фуражке и начищенных до блеска сапогах. Обтянутая черной гляцевитой лайкой кисть протеза недвижно торчала из левого рукава. Было ему лет тридцать пять, но мне в мои девятнадцать он казался пожилым, если даже не старым.

Он приказал водителю отъехать, отвечая на мое приветствие, молча поднял руку к фуражке и, окинув меня быстрым сумрачным взглядом, поинтересовался:

- Вас что, корова жевала?.. Погладить негде?.. - Он взял у меня книгу, с ловкостью двумя цепкими пальцами раскрыл, посмотрел и отдал обратно.

В ту же минуту из калитки, застегивая пуговицы воротничка, потирая глаза и оглядываясь по сторонам, торопливо вышел Витька, заспанный, без пилотки и без ремня, грязный и небритый.

- Чудесно! - сказал подполковник. - Комбат спит как убитый, начальник штаба почитывает стишата, а люди предоставлены сами себе! Охранение не выставлено, единственный часовой и тот спит! Кино! - возмущенно закричал он. - Безответственность!!! Немыслимая!!!

Витька недоуменно и растерянно посмотрел на меня. И только тут я вспомнил, что позапрошлой ночью, когда километрах в четырех от передовой мы грузились на машины, он приказал мне по прибытии на место выставить сторожевое охранение и набросать план действий в случае нападения противника. Однако люди валились с ног от усталости, а никакого наступления

со стороны немцев не ожидалось (они ожесточенно сопротивлялись и даже контратаковали, но только на короткое время - обороняясь). К тому же по дороге я убедился, что между передовой и Новым Двором, куда мы следовали, расположены части второго эшелона, что само по себе предохраняло от внезапного нападения. Успокоенный этим, я не смог более держаться, и сон мгновенно сморил меня.

Несомненно, я один был во всем виноват, но сказать об этом сейчас не решался: комбриг не любил, когда перед ним пытались оправдываться, и не терпел пререканий; считалось, что если он чем-либо недоволен, то лучше всего молчать. Виноват был я, а отвечать теперь в основном приходилось Витьке, причем я знал, что, как бы ему ни доставалось, в любом случае он и слова не скажет обо мне.

Мы стояли перед комбригом: я, вытянув руки по швам, покраснев и виновато глядя ему в лицо, а Витька - наклонив голову, как бычок, готовый ринуться вперед.

- В чем дело?! Объяснитесь! - после короткой паузы потребовал подполковник. - Может, война окончилась?.. - с самым серьезным видом язвительно осведомился он. - Тогда не хворые были бы и доложить, порадовать командование!..

И снова, помолчав, недовольно, с сердцем заявил:

- Воевать вы еще можете, но из боя вас выведешь, и - ни к черту не годитесь! Один спит, другой стишками развлекается, а бойцы у вас на речке, посреди деревни, голышом, как на пляже, устроились! - с негодованием сообщил он. - И еще водку, наверное, пьют!

- Люди измучены, - хрипловатым голосом упрямо проговорил Витька, хотя делать это ему бы не следовало. - Они заслужили отдых...

- Это не отдых, а разложение! - раздражаясь, вскричал комбриг. - Вы неопытны и не понимаете азбучных истин! Бездействие, как и безделье, разлагает армию! Пока прибудет пополнение и техника, мы стоим, возможно,

не менее полутора-двух месяцев. Вы, что же, так и будете погоду пинать?! Да вы мне весь батальон разложите!.. С завтрашнего дня, - приказал он, - каждое утро два часа строевой подготовки со всем личным составом! И три часа занятий по уставам и по тактике - ежедневно!..

В глубине двора послышался резкий неприятный скрип: створка ворот стоящей на задах большой риги приоткрылась, и оттуда, из темноты, появился лейтенант Карев - новоиспеченный командир роты, третий из уцелевших офицеров батальона. Ну надо же было ему в эту минуту вылезти! Долгоногий, худощавый юноша, он в одних шароварах стал на траве, жмурясь от яркого солнца и не видя нас, с удовольствием потянулся вверх руками, улыбаясь и выгнув грудь.

- Потягушеньки! - сдерживая негодование, с язвительной насмешливостью произнес подполковник. - Это просто кино! - яростно воскликнул он. - А план действий на случай нападения противника у вас есть?! О боевом обеспечении вы позаботились?..

Витька, засопев, одарил меня исподлобья мгновенным бешеным взглядом; злой желвак перекачивался на его похуделой щеке.

- Я вас спрашиваю обоих, - повторил подполковник, - о боевом обеспечении вы позаботились?!

- Я, т-товарищ подполковник, п-понимаете... - начал я, но тут же умолк.

- Плана нет, - со свойственной ему прямоотой без обиняков сказал Витька угрюмо. - И боевого обеспечения тоже. Это безответственность и мой недосмотр. Я за это отвечаю.

- Я недоволен вами! - властно и зло объявил Витьке подполковник (эти три слова выражали у него крайнее неодобрение) и немного погодя обратился ко мне: - Вот вы развлекаетесь, а донесения, требуемые по выходе из боя, отправлены?.. Похоронные заполнены? Списки потерь составлены?

Чувствуя себя кругом виноватым, я, потупясь, молчал.

- Даю вам час времени, - сообщил нам подполковник. - Выставить охранение, навести порядок и доложить!

И после короткой паузы продолжал:

- Создайте людям все условия. Обед сегодня по усиленной раскладке.

Получить и выдать всему личному составу по сто граммов водки. Но никаких пьянок и никаких женщин!..

Он вскинул руку к фуражке и вместо ожидаемого обычного «Выполняйте!», уже поворачась и отходя, приказал:

- Отдыхайте!

Мы с Витькой, не двигаясь, наблюдали, как он быстрым и твердым шагом подошел к машине, сел, и тотчас «виллис», набирая скорость, покатился и скрылся за поворотом.

Витька перевел взгляд, посмотрел на меня, на томик Есенина в моей руке и, буквально дрожа от ярости, бешено выдохнул:

- Сюсюк!!!

И возмущенно, с непередаваемым презрением выкрикнул то, что уже не раз говорил мне, когда я читал стихи и упускал что-либо по службе:

- Пи-и-ижонство!.. А также гнилой сентиментализм!..

Минут десять спустя я сидел за столиком в саду и торопливо составлял требуемые документы. К сожалению, я почти не знал батальонного делопроизводства и к тому же с детства испытываю неприязнь ко всякому письму. Но оба писаря были убиты, и по необходимости мне предстояло несколько дней самой упорной писанины.

Прибыли вызванные по тревоге командиры подразделений - старшина-артиллерист и четверо сержантов, - подошел и лейтенант Карев. Не отрываясь от бумаг, я сообщил, что необходимо немедленно выставить охранение, представить отчетность по трем формам, а также выделить наряд на полевую кухню и послать машину на бригадный обменный пункт. Как я и ожидал, они начали спорить меж собой и препираться: в одной роте осталось четырнадцать человек, а в другой - лишь пять, из них двое раненых; люди отсыпаются, моются, стирают и сушат обмундирование и так далее и тому подобное. Начался

шумный разговор, но Витька прикрикнул, и все мгновенно умолкли.

Он брлся, стоя у машины, поглядывая в зеркальце и напевая про себя, вернее, мыча мотив какого-то воинственного марша, что было у него признаком дурного настроения. Я чувствовал себя перед ним виноватым и, составляя документы, спешил и старался вовсю.

Мне он не сказал больше ни слова, но его ординарцу Семенову - ушлomu, редкой смелости, однако бесцеремонному бойцу - крепенько попало. Поставленный часовым возле штабной машины, Семенов вздумал грызть яблоки. В другой день Витька не обратил бы на это внимания, но тут он с чувством высказал Семенову все, что о нем думал, и пригрозил, что заставит «месяц на кухне картошку чистить».

Отдав необходимые приказания, я отпустил командиров подразделений и снова занялся донесениями, когда послышался звонкий приятный голосок, певший по-польски, и я не без волнения увидел ту самую девушку, что уже видел мельком в орешнике на берегу.

Она шла тропинкой через сад, раскачивая в руке плетеную корзинку, ловко и грациозно ступая маленькими загорелыми ногами - как бы чуть пританцовывая, - и, словно не замечая нас, напевала что-то веселое. Витька - он кончал завтракать, - опустив руку с куском хлеба, смотрел на девушку как зачарованный.

- Кто это? - прожевывая, с некоторой растерянностью спросил он Семенова, как только она скрылась за углом хаты. - Семенов, кто это?

- Как кто? - обиженно сказал Семенов. - Хозяйкина дочь...

- Ясен вопрос, - медленно проговорил Витька, и, поняв по его лицу и по голосу, какое впечатление произвела на него маленькая полька, я не на шутку огорчился.

Дело в том, что он был старше меня, несравненно молодцеватей и представительнее; он уже знал женщин и, более того, считал себя - да и мне казался - бывалым и лихим сердцеедом.

- Города берут смелостью, - серьезно и значительно говаривал он, - а женщин - нахальством.

При этом у него делалось такое лицо, словно он сподобился постичь что-то настолько таинственное и необъяснимое, чего ни мне, ни другим понять никогда не суждено.

Не знаю, где он это услышал, у кого позаимствовал, но он так говорил, и я тогда в это верил.

Теперь-то, спустя многие годы, мне совершенно ясно, что Витька не был бабником, да и нахальничать, наверно, не умел - это не соответствовало его характеру; просто легкий успех у двух-трех одиноких женщин, встреченных им на дорогах войны, вскружил ему голову и породил излишнюю мужскую самоуверенность. Но тогда я всего этого не понимал и, убежденный в его неотразимости и нисколько не сомневаясь, что в любом случае ему будет отдано предпочтение, помнится, болезненно огорчился, заметив впечатление, произведенное на него девушкой, которая мне так понравилась.

С хмурым лицом подписав уже готовое донесение, он по моей просьбе расписался еще на нескольких листах чистой бумаги, чтобы я и без него мог отправить наиболее срочные документы, и ушел в подразделение.

Вернулся он через несколько часов, уже после полудня. Все это время я, не разгибаясь, сидел над бумагами, по неопытности путаясь и переписывая документы, затем наконец отправил два донесения с мотоциклистом в штаб бригады и, получив в ответ приказание незамедлительно представить отчетность еще по пяти формам, а также донести «о всех мероприятиях по маскировке, сохранению военной тайны, ПВО, ПХЗ{1} и ПТО{2}», пришел в совершенное отчаяние. Та нескончаемая писанина, какая одолевает штабы, когда часть выводят из боя, и с которой в батальоне еле справляются три-четыре человека, навалилась на меня одного со всей своей силой и неумолимостью. С непривычки отнималась рука, болела и плохо соображала голова, я чувствовал, что не справлюсь, но поделаться ничего было нельзя - любому бойцу или сержанту, кого

я захотел бы привлечь себе в помощники, потребовался бы допуск к секретной работе; Витька же и Карев были заняты с людьми в батальоне.

В душе, несомненно, завидуя им и мечтая поразмяться: побродить с одноклассником во ржаках за деревней или поплавать, позагорать на речке, - я сидел, как привязанный и писал, мучаясь и многое переделывая. Между тем Зося - так звали маленькую польку, - помогая матери, возилась по хозяйству. Ее ясный голосок слышался то у хаты, то на огороде, то совсем близко за моей спиной или где-нибудь сбоку.

Каждый раз, когда она, напевая и ловко уклоняясь от веток, проходила или пробежала через сад у меня перед глазами, я непроизвольно смотрел ей вслед и, проводив взглядом ее легкую фигурку, давал себе слово больше не отвлекаться и не обращать на нее внимания; однако спустя некоторое время она появлялась опять, и все повторялось.

Ее мать, пани Юлия, седоволосая, лет сорока пяти женщина, с моложавым, добрым лицом и припухлыми усталыми глазами, стирала в тени у хаты; затем они обе ушли на огород, откуда доносились их негромкие голоса: живой и веселый - Зоей и медленный глуховатый - матери.

В полдень пани Юлия принесла мне чуть ли не полную крынку парного тепловатого молока и, что-то сказав, поставила на стол. Я поблагодарил заученным «бардзо дзенкую» и, когда она ушла, с удовольствием выпил часть, оставив большую половину Витьке.

Он вернулся веселый и, как всегда, полный энергии и жажды деятельности. Приветливый - словно утром ничего не произошло и комбриг не ругал его по моей вине, - он подошел ко мне и выложил на стол два спелых желтоватых яблока - видно, кто-то угостил его, а он принес мне. Пока я их ел, он, присев рядом на корточки, с увлечением рассказал, какой богатый обед удалось организовать на батальонной кухне, и посмеялся, что кое-кто даже не пришел обедать - так хорошо здесь с продуктами и столь надоело бойцам котловое варево.

Тут же он предложил приготовить свое любимое блюдо - пельмени по-сибирски, - живо поднялся и послал Семенова на мотоцикле раздобыть муки и мяса, а сам, смахнув пыль с сапог, пошел в хату знакомиться с хозяевами.

Минут через пять я увидел его на дворе возле поленницы, - скинув ремень и гимнастерку, он колот дрова.

С малолетства привычный ко всякой крестьянской работе, ловкий, широкогрудый, обладая медвежьей, без преувеличения, силой, он легко и скоро разделался с небольшим штабелем - как семечки пощелкал - и помог пани Юлии уложить наколотые ровными четвертинками полнца. Потом в ожидании Семенова какое-то время сидел на виду во дворе и, тихонько пощипывая струны, сосредоточенный и важный, любовно настраивал свою гитару.

Это была его гордость и очень дорогая игрушка - захваченная в немецком генеральском блиндаже, инкрустированная перламутром роскошная концертная гитара, изготовленная собственноручно знаменитым венским мастером Леопольдом Шенком, чье имя и фамилия вместе с тремя призовыми медалями были выведены золотом на нижней деке, в провале голосника.

Витька болезненно дорожил этим редкостным по красоте и звучанию инструментом и даже приятелям неохотно давал в руки, что не раз служило поводом для товарищеской подначки. Во время боев гитара хранилась на складе хозчасти батальона в специальном футляре, под замком, обернутая еще поверх для пущей предосторожности трофейными одеялами.

Я слышал, как подъехал Семенов и как Витька одобрил привезенное им мясо. Когда примерно через час я отправился к хате, чтобы подписать документы, стряпня была в полном разгаре.

Пани Юлия готовила салат из огурцов и редиски со сметаной, а Витька и под его руководством Семенов и Зося дружно и споро делали пельмени. На широкой кафельной плите уже что-то тушилось или жарилось.

Зося раскатывала нарезанное маленькими кружочками тесто в крохотные тонкие блиночки, а Семенов во второй или третий раз - для большей нежности -

пропускал фарш через мясорубку.

Витька же, с головой, покрытой вместо поварского колпака чистым носовым платком, успевая приглядывать за помощниками, поправлять, поторапливать и подбадривать их, выполнял самые трудные и ответственные операции: кончиком финки проворно клал небольшие кусочки фарша на раскатанные блинчики, затем, подготовив таким образом несколько рядов, быстрыми сноровистыми пальцами мгновенно защипывал края.

Я не стал заходить в хату; Витька, прямо на подоконнике подписав принесенные мною документы, поинтересовался:

- Еще много?

- Хватит, - промолвил я, уголком глаза незаметно наблюдая за старательными движениями Зосиных рук.

- Ты давай закругляйся! - распорядился он и, посмотрев на часы, с шуточной официальностью объявил: - в шестнадцать тридцать - обед по усиленной раскладке. Форма одежды - парадная; явка офицерского состава - обязательна! - Он весело приложил руку к носовому платку на голове. - Выполняйте!..

Я пришел последним, когда в большой, сравнительно прохладной комнате, за столом, по-праздничному уставленным едой и питьем, уже сидели и хозяева и гости. Кроме Карева, Семенова и меня, приглашены были, надо полагать, хозяйкой, еще трое - худой, с тонким орлиным носом, вислыми, как у запорожца, усами и светлыми на загорелом лице глазами старик Стефан - двоюродный брат пани Юлии, и две женщины: рыжеватая-седая, неулыбчивая соседка, за весь обед не сказавшая и пяти, наверное, слов и посматривавшая на нас недоверчиво, с очевидной настороженностью, и Ванда, молодая, красивая, с подбритыми бровями, сильным телом и высокой торчащей грудью.

Витька чинно помещался во главе стола. Возле него сидели с одного боку пани Юлия, а с другого - Стефан. Когда я вошел, старик рассказывал, как невесело и трудно жилось при немцах. Хотя наведывались они в Новы Двур не

часто, но внезапно и довольно опустошительно: рыская по хатам, ригам и погребам, забирали вещи и некоторые продукты; год тому назад, оцепив неожиданно деревушку, угнали всех мужчин от семнадцати до пятидесяти пяти лет, а отступая, увели лошадей - нещадно, до единой.

Последствия этого недавнего мародерства тревожили Стефана, пожалуй, более всего.

- Что делать, а?.. - озабоченно спрашивал он у Витьки. - Ни землю вспахать, ни дров привезти, что же теперь - капут?..

Он свободно с незначительным акцентом говорил по-русски, нередко и к месту употребляя простонародные речения, старые присловицы и прибаутки. Как далее я узнал, многие годы он служил солдатом в царской армии, воевал еще с японцами, в Маньчжурии, а спустя десять лет - и с немцами, где-то в Галиции. Слушая, он тут же с ходу переводил; разговор за столом велся в основном с его помощью.

Я сел на свободное место между Стефаном и молчаливой полькой; напротив меня оказались Карев и Зося.

Она была в нарядной цветастой блузке с короткими рукавами; у шеи, в небольшом вырезе виднелась тонкая серебряная цепочка, на каких носят нательные крестики. Впрочем, и блузку и цепочку я разглядел позднее: первое время - до того, как немного охмелеть, - я и глаз на Зося не решался поднять.

Стол по военному времени был обильный и весьма аппетитный: тарелки с салатами и огурцами; вазочки, полные сметаны; два блюда с розоватыми, веером разложенными ломтиками сала; большущая, только что снятая с плиты сковорода молодого тушеного картофеля; горки щедро нарезанного, нашего армейского, а также хозяйкиного невешенного, домашней выпечки, светлого и пышного хлеба. Еще предстояли пельмени, придерживаемые Витькой как гвоздь обеда.

И питья тоже хватало: графины с бимбером - ароматным и очень крепким польским самогоном, поллитра водки, полученной Семеновым на нас четверых, и

высокие бутылки с коричневатой пенистой брагой.

На комодe за спиной Карева торжественно покоилась великолепная Витькина гитара; чуть выше на стене висело несколько фотографий, причем я обратил внимание на две большие, одинакового размера карточки чем-то весьма похожих мужчин - юноши и пожилого - в польской военной форме.

Витька налил бимбер в стаканы себе и Стефану и, передав графин Кареву, плеснул мне в рюмку немного водки, заметив при этом вскользь, что я не совсем здоров.

Это было неверно. Просто я не любил, да и не умел пить, и он наверняка побаивался, что я опьянею.

- За освобождение Польши! - поднимаясь со стаканом в руке, провозгласил он затем.

Мы выпили и принялись закусывать.

Я проголодался, но, чувствуя себя несколько стесненно, ел маленькими кусочками, медленно и осторожно, стараясь не чавкнуть и правильно держать вилку, от которой совсем отвык.

Стефан продолжал рассказывать, как им жилось при немцах, как их обирали. Витька, с аппетитом уминая тушеный картофель, слушал его, не перебивая, но, думается, и без особого сочувствия: мы прошли Смоленщину и Белоруссию - порушенные города и спаленные дотла деревни, где в целой округе не то что коровы, но и кошки живой не сыщешь; мы видели такое страшное опустошение и обнищание, после которых Польша да и Западная Белоруссия, как бы они ни пострадали, могли нас только удивлять и радовать своим сравнительным достатком.

Витька не терпел, чтобы его называли «пан», как это принято в Польше, и здесь он уже успел провести разъяснительную работу: Стефан, обращаясь к нему или к кому-нибудь из нас, говорил «товарищ офицер» или же просто «товарищ».

Не знаю, подействовало ли на меня то небольшое количество водки, но,

выпив затем в два приема еще около стакана браги и почувствовав себя чуть свободнее, смелее, я начал вскоре украдкой поглядывать на Зою.

Нет, я не обманулся, мне ничуть не пригрелось... Все было пленительно в этой маленькой девушке: и прекрасное живое лицо, и статная женственная фигурка, и мелодический звук голоса, и темно-зеленые сияющие глаза, и то радушие и вопрошающее любопытство, с каким она смотрела на нас.

Держалась она непринужденно и просто, как и подобает хозяйке. Помогая матери, угощала гостей, бегала в кухню за посудой, улыбалась и, чтобы поддержать компанию, даже пригубила бимбера - поморщилась, но глотнула. Потом, не скрывая заинтересованности, внимательно вслушивалась в русскую речь Стефана, будто старалась постичь, о чем он говорит и какое впечатление производят на нас его слова, не упуская при этом милым женским движением поправлять густые и непослушные каштановые волосы.

Иногда наши взгляды на мгновение встречались, и с невольным трепетом я ловил в ее глазах поощряющую приветливость, ласковость и еще что-то, волнующее, необъяснимое, причем мне подумалось, что до этой минуты никто и никогда не смотрел на меня так...

Карев, сын какого-то ленинградского профессора, самый из нас учтивый и предупредительный, успевал галантно ухаживать за женщинами: подкладывал им на тарелки закуску, предлагал хлеб и наливал брагу в стаканы. Понаблюдав, я решил последовать его примеру и, поддев большой ложкой горстку салата, хотел положить на тарелку Ванде, но она поспешно и весело воскликнула: «Дзенкуе! Не!..»^{3} - подкрепив отказ энергичным жестом; на меня посмотрели, и, в смущении зацепив рукавом высокую вазочку со сметаной, я едва не опрокинул ее, тут же дав себе слово больше не вылезать.

Витька обычно легко сходился с людьми, особенно простыми, а тем более с крестьянами. И здесь, спустя полчаса, выпив не один стакан бимбера, он уже обращался к Стефану прятельски, на «ты», дымил вместе с ним забористым самосадам, звучно смеялся, шутил и называл его доверительно,

по-свойски - Степа.

Используя свое крайне скудное, как и у всех нас, знание польского языка - десятка три-четыре слов, - Карев пытался разговаривать с Зосей. Она слушала его с веселой, чуть лукавой улыбкой, смеялась неверному произношению, быстро и озорно что-то переспрашивала, и он, почти ничего не понимая, приподняв плечи, весьма комично выражал на лице преувеличенное недоумение и разводил руками.

Витька через Стефана тоже несколько раз обращался к Зосе со всякими пустячными вопросами, явно желая завязать беседу и познакомиться поближе; без удовольствия наблюдая за всем этим, я решил, что мне также надо обязательно с ней заговорить.

Я полагал даже, что имею некоторое преимущество. У меня в кармане лежал полученный только что из штаба бригады в одном-единственном экземпляре «Краткий русско-польский разговорник», который, очевидно, должен был облегчить общение с местными жителями, и, признаться, я возлагал немалые надежды на эту крохотную, размером с удостоверение личности, книжицу.

Достав ее потихоньку из кармана и поместив незаметно на коленях, я исподволь просмотрел все от начала и до конца. В ней было свыше тридцати коротеньких разделов, и, кажется, были предусмотрены все возможные случаи не только на земле, но и на воде или в воздухе. Я мог, например, без малейшего труда и промедления осведомиться о столь различных вещах: «Знаете ли вы, где скрываются оставшиеся немецкие солдаты и офицеры?.. Скажите, известно ли вам, где немцы заминировали местность?.. Прошу быстро показать, на каком пути стоят цистерны с горючим...» Или: «Можно ли перейти реку вброд?.. Где?.. Могут ли переправиться танки?.. Сколько сброшено парашютистов?.. Где приземлились планеры?..»

Ну к чему мне была в тот час вся эта опросная лабуда?..

Из всех разделов наиболее соответствовал моему стремлению предпоследний - «Разговор на общие темы». К великой досаде, в нем оказалось

всего лишь пятнадцать фраз, из них самыми невоенными и человеческими были:
«Здравствуйте!.. Благодарю нас!.. Как вас, зовут? (Но я с утра знал, что ее зовут Зося...) Пожалуйста, закурите... (Еще не хватало, чтобы я предложил ей закурить!) Как истинный поляк вы должны нам помочь в борьбе против нашего общего врага - немца... Где находится ближайшая аптека (больница, баня)?..»

Я снова поймал на себе загадочно-непонятный, но вроде бы выжидательный взгляд Зоси и буквально через мгновение ощутил легкое, как мне показалось, не совсем уверенное прикосновение к своему колену - у меня перехватило дыхание, а сердце забилось часто и сильно.

Надо было действовать! Не теряя времени, немедля!

«Смелостью берут города... - подбодрил я себя. - Не будь рохлей!..

Ну!..» И с внезапной решимостью я подвинул вперед ногу. В тот же миг Карев поморщился от боли - у него осколком была задета коленная чашечка - взглянул под стол и, ничего не понимая, вопросительно посмотрел на меня.

Я сидел, сгорая от конфуза, но Зося, кажется, ничего не заметила, а если и заметила, то виду не подала. Немного погодя она что-то сказала Стефану, и он, улыбаясь, обратился ко мне:

- Товарищ молится богу?

- Нет, почему? - удивился я.

- Зоська говорит, что товарищ на речке молился. Так вот что ее интересовало! Только-то и всего?!

- Это не молитва... - Я покраснел и опечалился. - Совсем...

- Это стихи, - услышав и сразу сообразив, пояснил Витька и огорченно, с укоризной посмотрел на меня. - Вот видишь...

Было бы неверно сказать, что Витька не любил поэзию, - он ее просто не понимал.

- Чушь! - например, от души возмущался он. - Да где он видел розового коня?! Я же сам из крестьян! Навыдумывают черт-те что!

Стефан, должно быть, не знал или позабыл, что означает слово «стихи», и, повторив его медленно вслух, недоуменно пожал плечами.

- Ну, Пушкин... - еще более смутясь, проговорил я.

- А-а-а... - Он улыбнулся и сказал что-то Зосе.

Витька же, не упустив случая, заявил, что церковь - это опиум и средство угнетения трудящихся и что с религией и с богом у нас в основном покончено. Если где и остались еще одиночные верующие, то это темные несознательные старики, отживающие элементы, а молодежь-де такой ерундой не занимается, и девушка вроде Зоей - он показал на нее взглядом - постыдилась бы носить на шее цепочку с крестом...

Обескураженный, я спрятал книжечку в карман, сказав самому себе, что обойдусь и без нее.

Стефан - слушал ли он или говорил - своими умными с хитринкой глазами внимательно присматривался к нам, как бы желая определить, что мы, «радецкие», за люди, насколько изменились русские за три без малого десятилетия с тех времен, когда он служил в царской армии, и, наверно, более всего хотел бы разведать и уяснить, чего от нас следует ждать?

Слегка, приятно опьянев и ободренный к тому же Зосиной приветливостью, я начал поглядывать на нее чуть длительнее, как вдруг она мгновенно осадила меня: посмотрела в упор, строго и холодно, пожалуй, даже с оттенком горделивой надменности.

Ошеломленный, я и представить себе не мог причины подобной перемены. Да что я такого сделал?.. Неужто позволил лишнее?..

А может, это была та самая игра, какую подсознательно уже многие века и тысячелетия ведет слабая половина рода человеческого с другой, более сильной?.. Не знаю. Если даже и так, то я в ту пору был еще слишком робок и неопытен, чтобы принять в ней участие.

Я терялся в догадках, впрочем, спустя какую-нибудь минуту Зося

взглянула на меня с прежней веселостью и радушием, и я тотчас внутренне ожил и ответно улыбнулся.

Вскоре я заметил, или мне показалось, что она поглядывает на меня чаще, чем на Витьку или Карева, и как-то особенно: ласково и выжидательно - словно хочет со мною заговорить либо о чем-то спросить, но, по-видимому, не решается. И всем -существом своим я внезапно ощутил смутную, но сладостную надежду на вероятную взаимность и начало чего-то нового, значительного, еще никогда мною не изведанного. Я уже почти не сомневался: между нами что-то происходило!

Хмель развязал понемногу языки и растопил некоторую первоначальную сдержанность. Ванда, чему-то про себя усмехаясь, довольно откровенно посматривала на Витьку, что было с ее стороны безусловной ошибкой: по Витькиному убеждению, наступать полагалось мужчине, а женщинам следовало только обороняться; к тому же он не признавал в жизни ничего легкого, достаемого без труда и усилий.

Кажется, он не сказал ничего обидного, но, как только Стефан перевел, произошло неожиданное: Зося, вспыхнув, пламенно залилась краской, ее нежное, матово-румяное лицо в мгновение сделалось пунцовым, глаза потемнели, а пушистые цвета каштана брови задрожали обиженно, как у ребенка.

Я даже не без страха подумал, что она вот-вот расплчется, но она, с гневом и презрением посмотрев на Витьку, вдруг энергичным движением вытащила из-за пазухи цепочку с католическим крестиком и вывесила его поверх блузки, вскинув голову и с явным вызовом выпятив вперед грудь.

В ее лице, осанке и взгляде выразилось при этом столько чувства, столько негодования, гордости и нескрываемого презрения, что Витька подрастерялся. Бодливо наклонила голову, он посмотрел на меня, затем на Карева, словно ища поддержки или призывая нас в свидетели и как бы желая во всеуслышание заявить: «Вы видите, что она вытворяет?!»

Пани Юлия быстро, умоляющим голосом о чем-то просила Зося, и Стефан,

нахмурясь, тихо, но твердо сказал ей несколько слов, очевидно предлагая спрятать крестик, однако Зося, пунцово-красная, разгневанная, уставясь прямо перед собой, сидела, не двигаясь, только взволнованно поднималась маленькая грудь.

В напряженной тишине угрожающе сопел Витька, и, зная его, я, конечно, понимал, что стерпеть подобную демонстрацию и промолчать он будет просто не в состоянии.

- Кстати, у нас, в Советском Союзе, - вдруг послышался голос Карева, - свобода вероисповедания! И чувства верующих уважаются государством!

Он сказал это, ни к кому, собственно, не обращаясь, отчетливо и так громко, словно выступая перед большой аудиторией. Витька исподлобья посмотрел на него, сосредоточенно соображая, вероятно, смекнул, что в данном случае не следует выставлять принцип и что лучше уступить, и, наконец, пересилив себя, заговорил со Стефаном о хлебах.

Спустя буквально минуту он, словно ничего и не было, радушно беседовал с пани Юлией и Стефаном и даже улыбался, однако Зося успокоилась и отошла еще не скоро. Напрасно Карев старался отвлечь ее, рассмешить или как-то расшевелить - она сидела все еще оскорбленная, молчаливая и строгая, не замечая Витьки или, во всяком случае, не глядя в его сторону. Прошло порядочно времени, прежде чем она несколько смягчилась и начала улыбаться, однако крестик так и не убрала - он по-прежнему висел поверх блузки.

Между тем Витька, сварив в крепком мясном бульоне пельмени, сам разложил их на тарелки и показал, как надо их есть, хорошенько полив сделанным им по особому рецепту острым соусом из уксуса и горчицы. Готовил он необычайно вкусно, а пельмени по-сибирски были его коронным блюдом, и неудивительно, что, отведав, и пани Юлия, и гости отметили его кулинарное искусство и довольно быстро опустошили два больших блюда. Мне очень нравилась Витькина стряпня, и, наверно, я тоже съел несколько штук, но точно не знаю - в тот час мне было не до пельменей.

Все это время я то и дело поглядывал на Зою, впрочем, думается, не больше, чем на Стефана или пани Юлию. Только на них я смотрел, не стесняясь, преимущественно по необходимости, для маскировки, а на Зою - украдкой, как бы мимоходом и невзначай, млея от нежности и затаенного восторга.

Даже когда я не смотрел на нее, я каждый миг ощущал ее присутствие и не мог думать ни о чем другом, хотя пытался прислушиваться к разговору, улавливал отдельные фразы и даже улыбался, если рядом смеялись.

Со мною творилось что-то небывалое. Еще никогда в жизни я не испытывал такого волнения при виде девушки или женщины, хотя влюблялся уже не раз, причем впервые, когда мне было всего пять или шесть лет и моей «пассии» примерно столько же. Последний же предмет моих сокровенных вздыханий, санитарка из соседнего батальона Оленька, была в начале наступления тяжело ранена и находилась где-то в тыловом госпитале, ничуть и не подозревая о моих чувствах.

Тогда, в юности, я частенько говорил стихами, справедливо полагая, что очень многие мысли и желания выражены поэтами несравненно лучше, ярче и точнее, чем это удалось бы мне. И сейчас в голове моей неотвязно вертелось:

Дорогая, сядем рядом,

Поглядим в глаза друг другу...

Ах, если бы я смел сказать это Зосе, если бы я только мог и умел!..

Разговор по-прежнему велся главным образом между Витькой и Стефаном - хозяйственный, по-крестьянски обстоятельный и во многом непонятный для меня или Карева - о землях и пахоте, об урожаях, надоях и кормах. Беседовали они спокойно и неторопливо, пока Стефан не поинтересовался тем, о чем нас уже спрашивали и в других деревнях: будут ли в Польше колхозы и правда ли, что всех поляков станут переселять в Сибирь?

Витька - он был родом из-за Омска, - как и обычно в таких случаях, ужасно обиделся и оскорбился.

- Ты, Степа, говори, да не заговаривайся! - сбывчась, рассерженно

воскликнул он. - С чужого голоса поешь! Тебе Сибирь что - место каторги и ссылки?! Ты ее видел?.. Из окошка? Проездом?.. Да я свою Михайловку на всю вашу округу не променяю! - потемнев от негодования, запальчиво вскричал он. На всю вашу Европу!.. С чужого голоса поешь! От немцев нахватался?! Позор!.. Я за такие байки любому глотку порвать могу - учти!..

Стефан - он был заметно под хмельком, - ошарашенный столь внезапным оборотом до того спокойного и дружелюбного разговора, приложив руку к груди, растерянно бормотал «пшепрашам паньства» и, как мог, извинялся. Остальные притихли, причем Зося с откровенной неприязнью смотрела на Витьку. Ощущая немалую неловкость, я тоже молчал, и снова находчиво и удачно вмешался Карев.

- Давайте выпьем за Михайловку, - весело предложил он, доливая в стакан Стефану, - и за Новы Двур!

Я уже достаточно опьянел, но попытаться заговорить с Зосей все никак не решался. Для смелости требовалось еще, и неожиданно для самого себя, взяв у Карева графин, я наполнил бимбером свой стакан из-под браги.

Витька, все еще нахохленный после разговора о колхозах и Сибири, посмотрел на меня с удивлением и очевидным недовольством, хотел что-то сказать, но засопел и промолчал.

До того дня мне никогда не доводилось выпивать сразу столько водки, а тем более неразбавленного самогона, и делать это, разумеется, не следовало. Однако меня подзадорило высказанное ранее Стефаном замечание, что, дескать, немцы слабоваты против нас - пьют крохотными рюмками, - на меня повлияло и присутствие Зоей, и стремление обрести наконец смелость, необходимую, чтобы заговорить с ней. Недовольство же Витьки показалось мне явно несправедливым - да что, в самом деле, я хворый, что ли?!

Впрочем, отступить было уже невозможно; я с небрежным видом - мол, подумаешь, эка невидаль! - поднял стакан и, улыбаясь, бодро посмотрел на Стефана и пани Юлию: «Сто лят, панове!..» Запомнилось, что пани

Юлия глядела на меня задумчиво и грустно, подперев щеку ладонью, совсем как это делала моя бабушка.

Я знал понаслышке, что такое бимбер, и все же не представлял, сколь он крепок, - настоящий горлодер! Я ожегся и поперхнулся первым же глотком, в глазах проступили слезы, и, с ужасом чувствуя, что вот сейчас оконфужусь, я, еле преодолевая себя, умудрился выпить все без остатка и, лишь опустив стакан и заметив, что на меня смотрят, заметив внимательный и вроде насмешливый взгляд Зоей, закашлялся и покраснел, наверно, не только лицом, но даже спиной и ягодицами.

Мне сразу сделалось жарко и неприятно; я сидел стесненный, ощущая ядерный самогон не только в голове, но и во всем теле, ничего не видя и не замечая малосольный огурец и кусок хлеба, которые совал мне сбоку Стефан, напевавший при этом:

Мы млодэи, мы млодзи,
Нам бимбер не зашкодзи.
Венц пиймы го шклянками,
Кто з нами, кто з нами{4}

Через несколько минут я понял, что совершил непоправимое, - и дернула меня нелегкая выпить эту свирепую гадость! Я пьянел стремительно и неотвратно; все вокруг затягивало прозрачной пеленой - и стол, и лица людей я видел уже как сквозь воду.

Снова вытащив разговорник, я начал его листать, однако вспомнил, что он бесполезен, и сунул назад в карман. В голове слегка шумело и путалось, но одна мысль ни на мгновение не оставляла меня; я должен - во что бы то ни стало! - заговорить с Зосей.

Я все-таки соображал, что она меня не поймет, и, повернувшись, крепко взял Стефана за руку - чтобы привлечь его внимание - и, сжимая ему ладонь, требовательно сказал:

- Прошу вас - переведите!

Затем, постучав кулаком по столу, прикрикнул на всех:
«Минутку!» - и, для внушительности строго уставясь Стефану в лицо
и стискивая ему руку, громко, должно быть, чересчур громко продекламировал:

Дорогая, сядем рядом!

Поглядим в глаза друг другу!

Я хочу под кротким взглядом

Слушать чувственную вьюгу!

Стефан и рта не успел раскрыть - недоумело улыбаясь, он смотрел на
меня, - как слева оглушительно захохотал Семенов, и еще кто-то засмеялся.

- Сюсюк! - тотчас услышал я над ухом разгневанный голос Витьки. - Даже
пить не умеешь! Погоны позоришь и Советский Союз в целом!.. Проводить тебя?!

- Не-е-ет! - замотав головой, громко и решительно заявил я.

Мне теперь и море было по колено. Я смотрел на Зосю, но уже не видел
отчетливо: ее лицо двоилось, плясало, расплывалось, а мне было жарко и худо,
спустя же какие-то полминуты начало основательно мутить.

Я поднялся и, удерживая равновесие, пошатываясь и на что-то натываясь,
двинулся к дверям.

Карев догнал меня в сенях и, полубобняв, вывел на крыльцо, но мне это не
понравилось, и я вывернулся, оттолкнув его.

- Я провожу вас...

- Не-ет! - сердито закричал я. - Сам!

И он послушно ушел.

Я постоял на крыльце, с облегчением вдыхая свежий воздух, обиженный на
все и на всех, затем решил: «А ну их к черту!» - шагнул и полетел
со ступенек вниз, больно ударясь обо что-то лицом.

* * *

Потом я оказался на задах, у риги, и Семенов - это был он, - держа меня
под руку, презрительно говорил:

- Эх, назола! Всю рожу ободрал...

Он пригнул мою голову книзу, сунул мне в рот свои пальцы и, когда меня вырвало, вытирая руку о голенище, наставительно сказал:

- Газировочку надо пить. И не больше стакана - штаны обмочите...

Я очнулся поздним вечером в душной риге на охапке сена. Левая створка ворот была распахнута, и прямо перед моими глазами тихая нежная луна низко стояла над садом, а дальше, разбросанные в темно-синем небе, искрясь, трепетали десятки звезд.

Совсем рядом, чуть ли не задевая меня хвостами и тихонько повизгивая, возились, играя, какие-то собаки - три или четыре, - не обращая на меня ни малейшего внимания. Во рту было противно, голова разламывалась от боли, а руки, шея, лицо и даже тело под гимнастеркой и шароварами отчаянно чесались и горели - я весь был искусан блохами.

Откуда-то издалека доносилось запоздалое пение одинокого соловья, а около хаты слышались звуки Витькиной гитары, шарканье ног, веселые голоса и смех.

Играл Витька, откровенно сказать, неважно. Как правило, его умение сводилось к довольно заурядному и почти однообразному аккомпанементу, правда, он это объяснял тем, что гитара-то шестиструнная, а он, мол, привык к отечественной - семиструнной. Да и пел он средне, без особого таланта, но я его любил, и, должно быть, поэтому мне нравилось.

Сейчас он не пел, а брэнчал что-то похожее на вальс - там, возле хаты, танцевали. И Зося тоже, наверное, танцевала; собственно говоря, а почему бы и нет?.. Там, несомненно, было весело; и ей, очевидно, - тоже. Ну и пусть, и пусть...

- Не жалею, не зову, не плачу, - убеждал я самого себя. - Все пройдет, как с белых яблонь дым...

Я лежал, прислушиваясь к смеху, шарканью и голосам, и мучился не только душевно: злые неумные блохи жилили меня, жгли как огнем.

Немного погодя в ригу, чуть прихрамывая и нетвердо ступая, пришел

Карев. Он присветил фонариком и, увидев меня, необычным полупьяным голосом заговорил:

- Вы не спите?.. Пойдемте на воздух - здесь полно блох. Вас не кусают?

Я был нещадно искусан, но чувство обиды и противоречия еще не совсем оставило меня.

- Нет! - ощущая сильнейшую головную боль, упрямо сказал я. - Никуда я не пойду.

Карев, обычно молчаливый, подвыпив, становился словоохотливым и сейчас, взяв с сена свою шинель и встряхнув ее, продолжал:

- А какой все-таки молодчага наш командир батальона! Простоват, но орел орлом!.. Великая это вещь - обаяние силы! Вы заметили: они все смотрят на него восторженно и влюбленно!

- Так уж все?

- Клянусь честью - и старые и молодые! А со Степой он дважды целовался... Молодчага и хват, - воскликнул Карев восхищенно, - ничего не скажешь! Одного лишь бимбера выпил больше литра, и как стеклышко!.. А я вот еле держусь... И вы знаете, он бесконечно прав: женщинам нравятся сильные и решительные! До наглости самоуверенные, идущие напролом!.. А вот мы с вами слишком интеллигентны, чтобы пользоваться успехом... Никчемная интеллигентность, - раздумчиво и огорченно вздохнул он, - будь она трижды неладна!.. Тут, понимаете... с женщинами необходима боевая наступательная тактика, - он взмахнул сжатой в кулак рукой, - напористость, граничащая с нахальством!..

Я мог, конечно, разъяснить ему, что мой отец - потомственный рабочий, а мать - ткачиха, причем из бедной крестьянской семьи, и что сам я попал на войну со школьной скамьи, еще не успев стать интеллигентом, и что дело, по-видимому, в чем-то другом, но мне не хотелось говорить. И я лишь заметил, медленно и с трудом произнося слова:

- А я не ставлю себе целью кому-нибудь нравиться. Тем более женщинам.

Меня это ничуть не волнует...

Я проснулся на рассвете с тяжеловатой головой и чувством огорчения и стыда за вчерашний вечер, за свою опьянелость и мальчишески-дурацкое поведение. Встал хмурый, а когда, умываясь возле машины, глянул в зеркальце и увидел на носу и на скуле багровые ссадины, - совсем расстроился. Однако сожалеть и предаваться угрызениям было некогда - не завтракая, я тотчас принялся за работу.

Когда поднялся Витька, я уже закончил донесения о мероприятиях по маскировке, ПВО и ПХЗ, дал ему подписать и отправил с мотоциклистом в штаб бригады.

Мы позавтракали у машины втроем: Витька, Карев и я, причем они, избегая разговора о вчерашнем и словно не замечая, что у меня окорябаны нос и скула, обсуждали план занятий с подразделениями по уставам и по тактике, интересуясь и моим мнением.

После их ухода, составив не без труда еще одно срочное донесение, я занялся похоронными.

Мне предстояло заполнить двести три совершенно одинаковых форменных бланка, вписав в каждый адрес, фамилию и инициалы одного из близких погибшего, а также воинское звание, фамилию, имя, отчество убитого, год и место его рождения, дату гибели и место захоронения.

Исполненный великолепным каллиграфическим почерком образец, присланный из штаба в качестве эталона, лежал передо мною, все нужные сведения также имелись, и, приступая, я почему-то мельком подумал, что это простая механическая работа, несравненно более легкая, чем составление неведомых мне отчетностей и донесений, - как же, однако, я ошибался!

Многих из убитых я знал лично, некоторые были моими товарищами, двое - друзьями. И, начав писать, я целиком погрузился в воспоминания; я как бы вторично проделывал восьмисоткилометровый путь, пройденный батальоном за месяц наступления, еще раз участвовал во всех боях, опять видел и переживал

десятки смертей.

И вновь на моих глазах тонули в быстром холодном Немане автоматчики из группы захвата старшего лейтенанта Аббасова, веселого и жизнерадостного бакинца, часа два спустя - уже на плацдарме - раздавленного тяжелым немецким танком.

Опять я слышал, как, лежа с оторванными ногами на минном поле, кричал, истекая кровью, мой связной Коля Брагин, славный и привязчивый деревенский паренек, единственный кормилец разбитой параличом матери.

Я снова видел, как через пустошь на окраине Могилева, увлекая за собой бойцов и силясь преодолеть возрастную одышку, бежал впереди всех пожилой и мудрый человек, в прошлом инженер-механик, парторг батальона лейтенант Ломакин, и падал на самом всполье, разрезанный пулеметной очередью.

И, прокусив от страшной, нечеловеческой боли насквозь губу, еще раз корчился сожженный струей из огнемета мой любимец и лучший боец, владивостокский грузчик Миша Саенко.

И, лежа на дне окопа с животом, распоротым осколком мины, тихонько стонал и в забытьи слабеющим, еле слышным голосом звал: «Ма-ма... Ма-ма... Ма-мочка...» - командир батареи Савинов, старый - по возрасту годный мне чуть ли не в дедушки - учитель математики из-под Смоленска, редкой душевности человек.

И снова... Опять... И вновь...

Все они, да и десятки других убитых были не посторонние, а хорошо знакомые и близкие мне люди. Заполняя извещения, я смотрел в тетради учета личного состава, листал уцелевшие красноармейские книжки, офицерские удостоверения, узнавал о некоторых из погибших что-то новое, подчас неожиданное, припоминал, и они явственно, словно живые, вставали передо мной, я слышал их голоса и смех - как это было совсем недавно - и еще раз переживал их гибель.

Пока их смерть была достоянием лишь батальона. Однако почти все они

имели родных: матерей и отцов, жен и детей, - имели родственников и, несомненно, друзей. Где-то в городах и деревнях о них думали, волновались, ждали и радовались каждой весточке. И вот завтра полевая почта повезет во все концы страны эти похоронные, неся в сотни семей горе и плач, сиротство, обездоленность и лишения.

Страшно было подумать, сколько надежд и ожиданий оборвут эти сероватые бумажки с одинаковым стандартным сообщением: «... в бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив мужество и героизм... был убит». Страшно было даже представить, - но что я мог поделаться?..

Мне с самого начала, как только я занялся похоронными, не понравилось указанное в присланном образце официально-казенное обращение: «Гр-ке...» Третье или четвертое извещение, которое я заполнял, адресовывалось в Костромскую область матери моего друга Сережи Защипина, Евдокии Васильевне, милой и радушной сельской фельдшерице. Я ее знал: дважды она приезжала в училище и баловала нас редким по военному времени угощением, сдобными на меду домашними лепешками, и все звала меня после войны к себе в гости, на Волгу. И я почувствовал, что назвать ее «гр-ка» или даже «гражданка» я не могу и не должен. Уважаемая?.. Товарищ?.. Милая?.. Дорогая?.. Я сидел в нерешимости, соображая, вспомнил почему-то Есенина и после некоторого колебания вывел: «Дорогая Евдокия Васильевна!»

Посоветоваться мне было не с кем, а время шло, и я на свою ответственность после адреса и фамилии с инициалами стал всем без исключения писать «дорогая» или же «дорогой», а затем указывал полностью имя и отчество.

В строке «Похоронен» я везде писал «на поле боя», и эти три слова все время беспокоили меня.

Я помнил, как в самую распутицу первой военной весны мать, сколько ее

ни отговаривали, отправилась пешком чуть ли не за двести километров разыскивать могилу Алеши, моего старшего брата, убитого где-то под Вязьмой, и как недели через две, так ничего и не найдя, она вернулась, измученная, больная, совершенно обезноженная и постаревшая сразу на много лет.

Я не сомневался, что многие из моих адресатов, многие из тех, кому я писал «дорогие», захотят, если не сейчас, то после войны разыскать могилы близких им людей. Однако в ходе наступления мы оставляли убитых похоронным командам стрелковых дивизий, а потому не знали точно места захоронения, и указать его при всем желании я не мог.

Единственно, что после долгих размышлений я еще надумал - вписать в каждое из двухсот трех извещений перед «Ваш сын (муж, отец, брат...)» следующие слова: «С глубоким прискорбием сообщаем, что...»

Это также было, конечно, вольностью и отклонением от формы и образца, но я решил, что подобная отсебятина, смягчающая официальную сухость похоронных, желательна и просто необходима. Если же в штабе бригады не захотят заверить мою самостоятельность печатью, что ж, я перепишу все заново - в батальоне имелось еще тысячи две чистых бланков.

Часов в десять утра приехали поверяющие из бригады: начальник строевого отдела, немолодой, молчаливый и не улыбочиво-строгий капитан и инструктор политотдела, подвижной и шумный старший лейтенант, тоже в годах; увидев меня, он еще с улицы, достав из машины связку свежих газет и брошюр, громко и радостно закричал, что наши войска штурмом овладели городами Нарвой и Демблин (Иван-город).

Нарва находилась где-то далеко на северо-востоке, под Ленинградом, а Демблин - где-то южнее Белостока и тоже неблизко; я никогда не был ни там, ни там, и эти с боями взятые города представились мне в ту минуту с чисто писарской, наверное, точки зрения - многими пачками похоронных.

Я поднялся и доложил, с недовольством подумав, что теперь у меня

отнимут немало времени, однако, к счастью, они сразу же отправились в подразделения.

Похоронные заняли у меня не менее шести часов, причем я даже представить себе не мог, сколь разбитым, расстроенным и опустошенным буду чувствовать себя по мере того, как передо мной вырастала стопа заполненных извещений. Я писал, охваченный скорбными мыслями и воспоминаниями, и мог только позавидовать Витьке и Кареву: не ведая моих переживаний, они занимались с бойцами, и оттуда, из-за деревни, где маршировали остатки батальона, доносились слова бодрой строевой песни:

Шко-ола мла-адших командиров

Ком-состав стра-не лихой кует.

Сме-ело в бой идти готовы

За-а трудящийся народ!

В сме-ертный бой идти готовы

За трудящийся народ!

Как и вчера, стоял чудесный солнечный день, жаркий, но не пеклый, и так славно, так изумительно пахло яблоками и медом. Как и вчера, Зося с утра возилась по хозяйству около хаты и на огороде, выполняя разную легкую работу, причем пани Юлия не однажды останавливала ее, стараясь по возможности все сделать сама. Я уже заметил, что она тщательно оберегает Зося, как без меры, до баловства любимую дочку, единственную у матери, потерявшей в боях с немцами еще осенью тридцать девятого года сына и мужа.

Пробегая поутру через сад, Зося на ходу приветливо бросила мне:

«Дзень добры!» - и я смущенно пробормотал ей вслед: «День добрый...» Я сидел, переставив стол так, чтобы густая огрузлая ветвь яблони свисала у самого моего лба, прикрывая оцарапанное лицо.

Потом Зося еще много раз, напевая что-то игриво-веселое, проходила или пробегала мимо меня, то с маленьким ведерком - носила воду в бочки на огород, - то с цапкой или еще с чем-то.

Поглощенный похоронными, я уже не смотрел ей вслед, как вчера; я вообще почти не поднимал глаз и если видел ее мельком, то лишь случайно, непреднамеренно. Отвлекаться и обращать на нее внимание представлялось мне в то утро чуть ли не кощунственным неуважением к памяти погибших. Уверен, что, если бы она знала, чем я занят и что содержат эти сероватые бумажки, она бы не пела так радостно и не бегала бы через сад мимо меня.

Часа в два пополудни, заполнив последнюю похоронную, я послал часового с приказанием в пятую роту, предложив ему заодно пообедать самому и принести мне обед с батальонной кухни. Когда он ушел, я занялся было донесением, но затем, передумав, достал из планшетки однотомник, решив позволить себе короткую передышку.

Я огляделся: в саду и на дворе никого не было - начал читать и сразу же увлекся. Выйдя из-за стола, я с удовольствием декламировал то, что мне более всего нравилось, преимущественно по памяти, почти не обращаясь к тексту.

Я отчасти забылся, однако стоял лицом к хате и смотрел перед собой, чтобы вовремя заметить возвращение бойца.

Я читал с выражением и любовью, наслаждаясь каждой строкой и в душе радуясь, что часового еще нет и мне никто не мешает.

...Пусть порой мне шепчет синий вечер,

Что была ты песня и мечта,

Все ж кто выдумал твой гибкий стан и плечи -

К светлой тайне приложил уста.

Не бродить, не мять в кустах багряных...

Я стремительно обернулся на шорох - сбоку от меня, шагах буквально в десяти, под яблоней, держась рукою за ствол, стояла Зося.

Не знаю, что могла она ощущать, не понимая языка, но лицо у нее было сосредоточенное, взволнованное, словно она что-то переживала, а открытые широко глаза напряженно смотрели на меня. Возможно, ее захватила проникновенная мелодичность, прекрасное, подобное музыке, звучание

есенинских стихов или она силилась догадаться, о чем в них говорилось, - не знаю.

Умолкнув на полуслове, я залился краской и, тотчас вспомнив о ссадинах, поспешно отвернулся, однако явственно расслышал, как у меня за спиной она тихо сказала: «Еще!» И по-польски и по-русски это слово означает одно и то же.

Я совсем растерялся, по счастью, в эту минуту появился боец с двумя дымящимися котелками. Из-за ветви, краем глаза я видел, как Зося, сняв с сучка небольшой, сверкнувший на солнце серп, медленно, гордо и вроде с недовольством пошла меж яблонь. Когда она скрылась в конце сада, я начал есть, положив перед собой раскрытый однотомник; впрочем, минут через пятнадцать я уже составлял очередное донесение.

Вскоре вернулись Витька и Карев. Настроение у них было приподнятое - поверяющие остались довольны батальоном. Как признался Витьке политотделец, они ожидали худшего, поскольку командир бригады приказал им бывать у нас чуть ли не через день, контролировать и помогать.

По моей просьбе Витька, присев с краю стола, за какие-нибудь полчаса подписал все похоронные. При этом он не вздыхал, не раздумывал и вообще не проронил ни слова, однако по-своему переживал: наклоня голову и насупясь, тяжело, нутжно сопел, то и дело, очевидно, встречая фамилии хорошо знакомых ему людей, морщился, как от кислого или от боли, сдавленно кряхтел и с ожесточением скреб пятернею затылок. Закончив, так же молча поднялся, умылся возле машины и, уже вытираясь, позвал меня на обед, приготовленный пани Юлией. Мне не хотелось туда идти, и, поблагодарив, я показал под яблоню на порожние котелки - не настаивая, он и Карев ушли в хату.

После обеда Витька, прослышав, что в лесу неподалеку имеется заготовленный еще при немцах швырок, решил привезти по машине пани Юлии и Стефану.

Это было в его обычае.

- Мы не просто воины, а освободители, - не однажды с достоинством говорил он бойцам. - Кого мы освобождаем?.. Обездоленных!.. Мы обязаны, чем возможно, помогать им. Мы должны не брать, а давать...

Убежденный в этом, он, где бы мы ни стояли, в свободные минуты охотно помогал жителям: заготовливал для них топливо или вскапывал огороды, отрывал на пожарищах землянки и даже умудрялся складывать печи из старого битого кирпича. Я не сомневаюсь, что впоследствии эти люди нередко вспоминали его добрыми словами.

Еще он очень любил и также полагал делом чуть ли не государственной важности, насадив полный кузов ребятишек - то-то бывало крику, визга и радости! - покатать их вдоволь с ветерком, хотя наш прежний, погибший две недели назад командир батальона не одобрял подобный, по его выражению, «не вызванный необходимостью расход бензина» и не раз указывал Витьке на это.

По распоряжению Витьки Семенов пригнал «студебеккер» минометной батареи. Я видел и слышал, как, стоя во дворе у машины, Витька расспрашивал Стефана о дороге и как тот убеждал его не ездить. По словам Стефана, леса вокруг буквально кишели немцами, пробирающимися из окружения к линии фронта; дня три назад на хуторе невдалеке они вырезали польскую семью, а позавчера в том самом лесу, куда собирался ехать Витька, обстреляли из чащобы наш санитарный автобус, убив водителя и фельдшера, а машину с ранеными сожгли.

И пани Юлия тоже упрашивала Витьку, и подоспевшая к ним Зося по-свойски грозила ему кулачком и что-то быстро, с возмущением говорила матери и Стефану, как я понял, требуя, чтобы они запретили Витьке ездить.

Однако все эти уговоры могли только подзадорить Витьку. Снисходительно, благодушно усмехаясь, он велел Семенову принести два автомата, запасные диски и штук шесть гранат, проверив мельком оружие, уселся за руль - Семенов поместился рядом - и поехал со двора. В самый последний момент Стефан, не на

шутку рассерженный его упрямством, от души ругаясь по-польски и по-русски, поминая холеру, «дзябола», а также Витькиных родителей, уже на ходу вскочил сзади в кузов.

Я сидел под яблоней и писал, но мысленно находился в лесу с Витькой. Мне очень хотелось поехать с ним и чтобы на нас в самом деле обязательно напали - вот тогда бы я себя и проявил. Мне грезилось, как мы возвращаемся в деревню, причем я тяжело и опасно ранен, а в кузове, навалом - убитые мною немцы. Нас встречают взволнованные Зося и пани Юлия, а Стефан и Витька наперебой рассказывают им, что если бы не я, то никто бы вообще не уцелел.

Смешно и нелепо, что я мог об этом мечтать, да и зачем было бы привозить из леса трупы врагов, но, помнится, я этого действительно сильно желал. Чтобы Зося - и не только она - на деле убедилась, что я не просто писаришка, не какой-нибудь юнец с окорябанным носом, способный лишь корпеть над бумажками и читать стихи, а мужчина и воин. Понятно, она видела награды у меня на гимнастерке, однако ордена получали и в штабах, перепали они подчас тем же писарям, и потому мне очень хотелось наглядно проявить себя.

Я так размечтался, что испортил донесение о наличии инженерного имущества в батальоне, и пришлось все переделывать.

Витька с Семеновым и Стефаном вернулись часа через полтора, довольные и веселые, на машине, груженной выше бортов отменным березовым швырком. Пани Юлия тоже заулыбалась, но Зося негодовала по-прежнему. Как объяснял Витьке Стефан, она не желала дров, из-за которых кто-то мог погибнуть, и заявила, что они с матерью проживут и обойдутся и без этого швырка. Она столь темпераментно протестовала и выражала свое возмущение, что пани Юлия быстро сдалась, отказалась от дров и попросила Витьку увезти их на двор к Стефану.

Против обыкновения, Витька даже не попытался настаивать, машина тут же развернулась и уехала, пани Юлия и Зося ушли куда-то по своим делам, и я остался с злополучными бумажками. Несмотря на все мои старания и усилия, их вроде и не убывало, а мне так хотелось закончить наконец и со спокойной

душой написать письмо матери.

Я трудился, не разгибаясь, меж тем Витька привез вторую машину дров, и, пользуясь отсутствием Зоей и пани Юлии, он с Семеновым и Стефаном проворно сбросили швырок и за минуту-другую сложили в поленницу возле риги.

Я помнил, что требуется сменить часового в саду, и, как только Семенов освободился, поставил его на пост. Стефана тем временем позвали - к нему приехали родичи, - и он ушел, еще раз поблагодарив Витьку и пригласив его зайти и распить со свояком бутылку бимбера. Витька обещал - малость погодя.

Прежде чем отогнать машину, он сидел на подножке и курил, в задумчивости оглядывая ровную поленницу, когда на дворе появилась какая-то нищенски одетая, жалкая и грязная старуха и обратилась к нему плачущим голосом.

Она запричитала, часто повторяя «ниц нема»{5} и показывая то на поленницу, то через улицу, на хилую хатенку, где, очевидно, она жила.

- Завтра, мамаша, завтра, - сразу поняв, ее, заверил Витька. -

Обязательно!

Я не сомневался, что он и ей завтра привезет дров, но она этого не понимала и продолжала плакать, стучая себя костлявой рукой по груди и упрямо повторяя «ниц нема».

- Вот чертова бабка, колись она пополам! - поднимаясь, в сердцах воскликнул Витька, не переносивший слез; он состроил свирепое лицо и, словно ища сочувствия, посмотрел в мою сторону. - Как банный лист!

Сделав последнюю затяжку, он загасил каблуком окурок и живо взялся за дверцу кабины.

Я почувствовал, что он решил съездить сейчас же, причем один, а солнце уже садилось, и в лесу наверняка смеркалось, отчего опасность нападения намного возрастала. Поспешно собрав бумаги, я запер их в металлический ящик и, схватив из «доджа» свой автомат, бросился на двор.

- Ты куда?.. - высовываясь из кабины, удивленно спросил Витька. - За

дровами?.. Ты давай с бумажками кончай! - распорядился он. - Я быстренько!

И, отжав сцепление, ходко поехал со двора, а я постоял, глядя ему вслед, подумал еще, что мне бы надо было проявить настойчивость и не отпускать его одного, и затем вернулся в сад.

Писать я уже физически не мог. Рука онемела и совсем отнималась; как я ни напрягал глаза, в смуром полусвете под яблоней буквы и строки различались с трудом; голова разламывалась и не соображала. К тому же Семенов, видимо недовольный тем, что я на весь вечер поставил его часовым, и уверенный, должно быть, в моем мягкосердечии и своей безнаказанности, набрал в подол гимнастерки яблок и, развалясь на сиденье «доджа», демонстративно, с невероятным хрустом жрал их и, швыряя огрызки, нагло и вызывающе поглядывал на меня.

Я ушел за деревню, и сразу же мысли о Зосе овладели мною. Произошло это не по моему желанию, а произвольно, и я, как мог, пытался перебороть себя.

Действительно, какое мне дело до этой Зоей?..

И собственно говоря, что она такое и что в ней особенного?.. Самая обыкновенная девчонка, каких в моей жизни - если, понятно, я уцелею - встретится еще немало. Причем, без сомнения, будут среди них и лучше и красивее.

Да и что может быть общего между мною - комсомольцем, убежденным атеистом - и какой-то католичкой? Что?! Ведь она, если вдуматься и назвать вещи своими именами, - религиозная фанатичка. И к тому же еще, должно быть, ярая националистка...

Царевич я. Довольно, стыдно мне

Пред гордою полячкой унижаться...

Теоретически все было правильно и логично, но, увы, только теоретически. И напрасно я то заставлял себя думать о другом, то, наоборот, старался выискать в ней что-нибудь дурное, уговаривая себя и домысливая черт знает что.

Я шагал и шагал полями, не задумываясь, куда и зачем, и лишь очутясь на опушке большого, угрюмого в наступающих сумерках леса, остановился, оглядываясь и соображая.

Догадка осенила меня, когда я случайно рассмотрел на песчаной дороге свежие рубчатые следы шин «студебеккера».

Очевидно, это был тот самый лес, куда ездил Витька за дровами, и все объяснялось несложно: я слышал, когда после обеда Стефан отвечал Витьке, как проехать к делянке с заготовленным швырком, запомнил его рассказ и теперь, в глубине души беспокоясь за Витьку, сам о том не думая, шел по этой дороге.

В лесу крепко пахло хвоей, было темно, душно и мрачно. Я углубился, наверное, не более, чем на пятьсот метров, когда увидел перед собой что-то очень черное, большое и не вдруг сообразил, что это - сожженный немцами наш санитарный автобус.

Подойдя, я не стал заглядывать внутрь - за полтора года я перевидал достаточно трупов, - а присел на корточки и, не без труда различив на обочине след «студебеккера», двинулся дальше.

Не помню точно, испытывал ли я страх в том зловещем враждебном лесу, но не волноваться, безусловно, не мог. Если бы с Витькой что-либо случилось, я бы никогда не сумел простить себе, что отпустил его одного.

Я шел в глубь густого массива, пока не услышал где-то впереди шум мотора, и, определив, что машина движется мне навстречу, скользнул в сторону и спрятался за деревьями.

Минуты две спустя мимо меня, тускло присвечивая затемненными фарами, проехал «студебеккер», груженный швырком; Витька, настороженно всматриваясь в полумрак, сидел за рулем.

У меня и в мыслях не мелькнуло его окликнуть. Просто мне хотелось и я считал своим долгом в случае чего быть рядом с ним. Однако я не сомневался, что, если бы он меня теперь увидел, если бы он узнал или, может, сам догадался, что меня привело в лес беспокойство, тревога за его жизнь, он

наверняка бы посмеялся и, думается, сказал бы без злости, но и не скрывая своего презрения, что-нибудь вроде: «Телячьи нежности!» или «Пижонство, а также гнилой сентиментализм!»

И еще, должно быть, крепенько отругал меня: ведь я был совершенно безоружен; выходя, я не предполагал, что окажусь в лесу, и даже пистолета с собой не взял.

Он проехал к деревне, а я немного погодя выбрался на дорогу и побрел следом, мимо сожженной машины, к опушке.

Помнится, я даже не ощутил особой радости, когда лес наконец кончился и чересполосица ржей снова окружила меня. Что хорошего обещал мне этот вечер и что ждало меня в деревне?..

Будто сочувствуя, сиротливо шелестела колосьями рожь, и, не переставая, с утомительной монотонностью стрекотали кузнечики.

Я добрел до околицы, когда совсем уже стемнело и первые звезды набрали яркость, а луна, утратив начальную желтизну, сделалась серебристой.

В ее призрачном сиянии распятый Христос страдал на высоком деревянном кресте; признаться, мне тоже было нелегко: тоскливо и одиноко.

Еще подходя, я услышал гитару - играл Витька. Он, конечно, уже успел сгрузить дрова, поставил машину, переделся, поужинал и теперь отдыхал. Будучи человеком действия, он скоро и решительно сделал нужное дело, а я в это же время со своим томлением и переживаниями телепался, как цветок в проруби, никчемно и бесполезно.

Там, возле хаты пани Юлии, видимо, как и вчера, собрались, чтобы потанцевать и повеселиться. Ну и ладно... А меня там не будет - я туда и не покажусь. И пусть Зося - да и не только она - думает, что меня это ничуть не волнует, что у меня есть дела поинтересней и поважнее, чем всякие танцы-шманцы, эмоции и ухаживания.

А Витька, аккомпанируя себе на гитаре, с чувством

Разбирая поблекшие карточки,

Орошу запоздалой слезой

Гимназисточку в беленьком фартучке,

Гимназисточку с русой косой...

Вспоминаю, и кажется нелепым и неправдоподобным, что Витька, столь мужественный, сильный и цельный парень, не терпевший никаких сантиментов и нежностей, мог под настроение распевать подобную чувствительную дребедень. Нелепо и неправдоподобно, но, как говорится, из песни слова не выкинешь - было...

Вы теперь, вероятно, уж дамою,

И какой-нибудь мальчик босой

Называет вас, боже мой, мамою,

Гимназисточку с русой косой.

Ну и пусть... В невеселом раздумье я стоял у креста; идти в деревню, с кем-либо общаться и разговаривать мне не хотелось, и я не знал, что же теперь предпринять. Куда себя деть и чем заняться до сна?..

От ближних хат тянуло жильем и аппетитным запахом свежеиспеченного хлеба; я даже ощутил некоторый голод и не без грусти подумал, что, может, никто и не вспомнил, ужинал я или нет.

Постояв еще немного, я задворьем тихонько прошел к хате Стефана, где около крыльца размещалась батальонная кухня.

Из завешенного - для светомаскировки - дерюжкой окна доносилась русская и реже польская речь, но на дворе возле двухколесных автомобильных прицепов с полевыми котлами никого не было. Не желая звать повара - я узнал его по голосу, слышному из хаты, - я сам приподнял крышки и в одном из котлов обнаружил темный тепловатый чай, а в другом - остатки вкусно пахнувшей мясом и дымом каши.

Я посмотрел вокруг, однако ни черпака, ни ложки, ни котелка нигде не нашел. Тогда я подобрал малую саперную лопатку, обмыл ее водой из бочки, осторожно, чтобы не запачкаться, перегнулся в котел и зачерпнул ею изрядную

порцию густого крупяного варева.

Это оказалась еще не совсем остывшая и удивительно вкусная гречневая каша, обильно сдобренная трофейным шпиком, свиной тушенкой и жареным луком. Присев на чурбачок у прицепа, я, орудуя щепкой, с аппетитом и большим удовольствием принялся есть, только теперь почувствовав, насколько проголодался.

В хате выпивали и были уже порядком под хмелем. Кроме повара, пожилого степенного ефрейтора Зюзина, называемого всеми в батальоне Фомичом, я узнал по голосу Стефана, а также Сидякина, молоденького ершистого автоматчика из пятой роты. Был там еще кто-то, очевидно, свояк Стефана, говоривший мало и только по-польски.

Стефан все расспрашивал о колхозах, причем Фомич с пьяноватым спокойствием, растягивая слова, говорил:

- Ничего-о... Жить мо-ожно...

Сидякин же, наоборот, ссылаясь на свою деревню, ругался и с жаром советовал Стефану, если начнется коллективизация, податься в город на заработки, поскольку, мол, толку все равно не будет.

- Не бо-ойсь... - успокаивая старика и невозмутимо противореча Сидякину, тянул нараспев Фомич. - Не пропаде-ешь...

Я немного отвлекся, слушая их разговор, и, должно быть, охотно посидел бы еще, но получалось, что я подслушивал, и потому, доев всю кашу, поддетую на лопатку, я попил воды и, так никем и не замеченный, вернулся на задворье.

Тем временем Витькино пение под гитару сменилось гармонью. Играл любимец батальона, гранатометчик Зеленко, играл с редким талантом и мастерством. Что бы он ни исполнял: украинскую народную песню или старинный вальс, чеканил ли озорную плясовую или строевой бравурный марш - приходилось лишь удивляться, как из старой обшарпанной трехрядки с пробитыми и залатанными мехами ему удастся извлекать такие чистые, мелодичные и берущие за душу звуки.

Вкусная сытная каша подкрепила меня не только физически, но и морально, я почувствовал себя бодрее и как-то увереннее. Зеленко играл, и меня неодолимо влекло туда - потихоньку я медленно подвигался задами к хате пани Юлии, где танцевали под гармонь.

Спустя некоторое время я стоял в крапивнике за ригой, с волнением прислушиваясь к смеху и голосам, а трехрядка звала меня, все звала, подбадривая и будоража, и постепенно я склонился к мысли, что мне следует пойти туда и пригласить Зосю танцевать.

В самом деле, почему бы мне это не сделать?.. Да что я рыжий, что ли?..

Я попытался увидеть себя со стороны и оценить строго, но объективно.

Я был не хлипкого телосложения, достаточно ловок и танцевал, во всяком случае, не хуже Витьки или Карева. Понятно, ссадины на лице не украшали меня, однако в конце концов это не так уж существенно и надо быть выше этого.

Возможно, я совсем не умел пить и у меня недоставало командных качеств, не хватало властности в обращении с подчиненными, но я отнюдь не был тряпкой или пижоном. Я воевал уже полтора года, имел ранения и награды, причем стрелял лучше других и, если верить донесениям и фронтовой газете, имел на личном боевом счету больше убитых немцев, чем кто-либо еще в батальоне.

«Смелостью берут города... - убеждал и настраивал я себя, расхаживая за ригой. - К черту интеллигентность!.. Под лежащий камень и вода не течет... Главное - боевая наступательная тактика! Напористость, граничащая с нахальством...-»

И еще я мысленно повторял любимое Витькино изречение: «Жизнь, как и быка, надо брать за рога, а не хватать за хвост!»

Вскоре я так основательно настропалил себя, что, отбросив все сомнения, уже ясно представлял себе, как подхожу к Зосе и, с кем бы она ни стояла, приглашаю ее танцевать. Приглашаю не интеллигентским наклоном головы, а как и подобает настоящему мужчине - повелительно, с силой и грубовато взяв ее за

руку. Я уже надумал, что если кто-нибудь окажется рядом с нею - у меня на дороге, - то я как бы невзначай, мимоходом отодвину его плечом, точно так же, как это сделал на моих глазах Витька с одним лейтенантом-артиллеристом на танцах в деревушке за Могилевом.

Возбужденный, переполненный необыкновенной решимостью, я метался в крапивнике, чувствуя, что теперь уже никто и ничто меня не остановит - я пойду напролом, как танк!

Стремительным ударом всего корпуса я отшвыривал вероятного соперника и с такой яростью хватал воображаемую руку Зоей, что у меня даже мелькнуло опасение - как бы не переборщить!.. Ведь она юная и нежная девушка, и, если ее так схватить, она может, не выдержав, заплакать от боли или, оскорбясь, разгневаться, как вчера за обедом, когда Витька, не тронув ее и пальцем, всего-навсего указал взглядом на цепочку от крестика.

В конце концов я так себя распалил и так разошелся, что уже положительно не мог находиться в бездействии.

Было бы несолидно появиться с задворок, к тому же не мешало сначала смахнуть пыль с сапог, и я прошел к машине в сад.

Часовой - все тот же Семенов - полулежал в кузове на сене и лениво тянул «Темную ночь». Когда я приблизился, он, скосив глаза, посмотрел на меня, однако даже не приподнялся.

- Встать! - негромко, но твердо приказал я и, поскольку он и не шевельнулся, с силой рванул его за плечо и властным, железным голосом закричал: - Встать!!!

Недоумело глядя на меня, он поднялся в кузове (если бы он помешкал еще хоть две-три секунды, я, безусловно, выкинул бы его из машины) и хотел что-то сказать, но я, не дав ему и рта открыть, свирепо оборвал:

- Молчать!!! Вы что, на посту или у тещи на блинах?! Совсем обнаглел! Увижу еще хоть раз - заставлю месяц на кухне картошку чистить!.. - Я вскинул руку к пилотке. - Выполнять!..

Я еще никогда с ним так не разговаривал, понятно, он не ожидал и несколько опешил. Он послушно вылез из кузова, повесил себе на грудь автомат и, потирая плечо и невнятно, недовольно бормоча, отошел к яблоням.

Собственно, я ничуть не собирался его воспитывать, просто мне надо было достать бархотку из Витькиного вещмешка, на котором, как мне показалось, он лежал.

Не обращая более на него внимания, я снял пыль с сапог, щедро намазал их гуталином военного времени - черной вонючей мазью - и, как это делал Витька, старательно до блеска насандалил бархоткой.

Затем подтянул ремень еще на две дырочки, одернул тщательно гимнастерку, поправил погоны и пилотку и через щель в изгороди вылез на улицу.

Прежде чем, как я намеревался, с некоторой развязностью непринужденно и решительно войти во двор, прежде чем начать действовать, я, чтобы бегло ознакомиться с обстановкой, стал незаметно у калитки за деревом.

На залитой лунным полусветом небольшой площадке перед крыльцом кружились парами под гармонь человек двадцать, в основном бойцы и сержанты батальона; часть из них танцевала «за дам». Женщин было всего три или четыре, и я сразу увидел Зося.

Она танцевала с Витькой, доверчиво положив руку на его плечо. Он придерживал ее сзади за талию и, вальсируя, что-то ей говорил; не знаю, понимала ли она хоть слово, но она улыбалась или даже смеялась. Я напряженно всматривался, и спустя мгновение меня поразило, ударило в самое сердце неподдельно радостное, откровенно счастливое выражение ее бледного в серебристом свете лица.

Несомненно, ей было весело и даже радостно - ей и без меня было хорошо!..

Я ушел за хату и лег на сено в кузове, пытаюсь как-то овладеть собою, успокоиться и собраться с мыслями.

Мне было тяжело, непередаваемо тяжело и больно.

Не жалею, не зову, не плачу...

Нет, неправда!.. Не то!.. Совсем не то...

В Хороссане есть такие двери,

Где обсыпан розами порог.

Там живет задумчивая пери.

Во Хороссане есть такие двери,

Но открыть те двери я не смог.

«Не смог!..» Я лежал на спине, и перед моими глазами в темном
глубоком небе ярко мерцали бесчисленные звезды, дрожали, лучисто помигивая,
словно насмешничали и дразнились. Только звезды да еще луна, должно быть,
знают, сколько в мире влюбленных и сколько среди них неудачников... Луна,
конечно, солидней, тактичней и добродушнее; но звезды...

А может, они вовсе и не насмешничали?.. Может, наоборот, подбадривали
меня, мол: «Не робей!.. Смелостью берут города... Иди!..
Держай!»?.. Может быть - не знаю... Однако лицо Зоей сказало мне
больше, чем любые надежды, подбадривания и самовнушение; оно было нагляднее
и несравненно убедительнее всех остальных доводов.

Мне еще долго не спалось. Семенов с автоматом наизготове, как и
положено часовому, мерно расхаживал взад и вперед по саду. В глубине души у
меня даже ворохнулось сожаление, что я так резко с ним обошелся. Возможно,
следовало бы теперь сказать ему что-нибудь хорошее, одобрительное, но
заговорить я не мог. К тому же мне было стыдно перед ним, как перед
очевидцем моих энергичных приготовлений и моего незамедлительного
возвращения.

Я лежал, чувствуя себя глубоко несчастным и обездоленным, а по ту
сторону хаты танцевали под зазорные звуки гармони, то и дело слышался смех,
веселые восклицания, и, как мне казалось, я даже различал среди других
звонкий и радостный голос Зоей.

Ей и без меня было хорошо!.. До боли, до муки ужасало сознание, что она даже не думает, не вспоминает обо мне, что через несколько недель мы двинемся дальше, а она останется со своей жизнью, созданная, несомненно, для кого-то другого; я же - буду ли убит или уцелею - в любом случае навсегда исчезну из ее памяти, как и десятки других посторонних, безразличных ей людей...

Я думал о несправедливости, о жестокости судьбы, и чем дальше, тем более обида и жалость к самому себе охватывали меня...

* * *

Я проснулся после полуночи от громкого разговора. В свете луны около машины стояли Витька и Семенов, причем Витька, к моему удивлению, был пьян.

- Товарищ старший лейтенант, я одеяло из хаты принесу, - неуверенно говорил Семенов, поддерживая его под руку. - И подушку...

- Отставить!.. Телячи нежности, а также... Ты, Семенов, совсем разболтался... Азбучных истин не понимаете! - рассерженно бормотал Витька, с помощью ординарца забираясь в кузов. - Безделье разлагает армию... И никаких пьянок, и никаких женщин!..

* * *

А на другой день, когда начало смеркаться, мы покидали Новы Двур.

Вечером перед самым ужином был получен совершенно неожиданный приказ: к утру быть восточнее Бреста, в районе станции Кобрин, где уже, оказывается, выгружалось маршевое пополнение и техника для нашей бригады.

Почти одновременно с приказом к нам на штабном бронетранспортере заехал комбриг.

- Дней пять на ознакомление, на выработку слаженности и взаимодействия и - в бой! - приподнятым молодецкатым голосом объявил он. - Нас ждут на Висле! - обнимая за плечи меня и Витьку рукой и протезом, сообщил он с гордостью и так значительно, будто без нашего небольшого соединения ни форсировать Вислу, ни вообще продолжать войну было невозможно. -

Хорошенького, ребята, понемножку. Отдохнули - надо и честь знать...

Все было правильно. Наступление продолжалось, фронту требовались подкрепления, где-то там, наверху, очевидно, в Ставке, перерешили, и потому полтора-два месяца предполагаемого отдыха обернулись для нас всего лишь тремя днями. Все было правильно, но получилось как-то очень уж неожиданно, я даже письма матери не успел написать. Да и какой по существу это был отдых - я трудился, почти не разгибаясь, с рассвета и дотемна.

Мы собрались за какие-нибудь полчаса.

Витька, развернув на коленях карту, сидел в головном «додже» рядом с водителем, угрюмый и молчаливый. Весь день он ходил сумрачный и мычал самые воинственные мелодии, а более всего: «В атаку стальными рядами мы поступью твердой идем...» Поутру он несколько часов занимался с бойцами строевой подготовкой, был до придирчивости требователен и грозен.

От Карева в обед я узнал, что прошлым вечером, когда после танцев Витька попытался «по-настоящему» обнять Зою, она взвилась как ужаленная и в одно мгновение разбила о его голову гитару - прекрасную концертную гитару собственноручной работы знаменитого венского мастера Аеопольда Шенка.

- Так врезала, - не без восхищения сказал мне Карев, - вдребезгу!

Со стыда или от огорчения, обескураженный и, наверно, уязвленный Витька в полночь напился.

Понятно, для меня это было неожиданностью, впрочем, услышав, что она его ударила, я и не особенно удивился. В этой девчонке был норов и какая-то диковатая горделивость и независимость - я почувствовал это в первый же день.

Крестьяне нас провожали. К нашей машине подошли пани Юлия, Стефан и еще кто-то. И другие машины окружили провожающие и просто любопытные. Но Зоей нигде не было видно.

Пани Юлия принесла большой букет цветов и крынку сметаны. Витька, взяв

букет и что-то пробормотав, тут же сунул его за спину в кузов и снова углубился в карту; принимая цветы, он даже не улыбнулся. Стефан притащил две тяжелые корзины и с ядреной солдатской прибауткой вывалил на сено в кузове яблоки и отборные зеленые огурчики. Он было заговорил, обращаясь к Витьке, но, не получив ответа, сразу умолк и, вынув аккуратно сложенную газету, оторвал ровный прямоугольничек и занялся самокруткой.

Последние запоздалые бойцы торопливо подбегали и влезали на машины. Распорядясь погрузкой, я инструктировал командиров и водителей, проверял размещение людей с оружием вдоль бортов и, беспокоясь, как бы чего не упустить, отдавал и повторял все необходимые приказания по боевому обеспечению марша.

Нам предстояло до рассвета, за какие-нибудь семь часов, с затемненными фарами и ориентируясь в основном по звездам, проделать почти двести километров, большей частью плохими рокадными проселками, в лесах, где, как предупреждал штаб бригады, полно было немцев, разрозненными группами прорывающихся на Запад, и где на каждом шагу мы могли подвергнуться обстрелу и нападению из темноты. Однако для маскировки передислокации бригаде предписывалось двигаться обязательно ночью, побатальонно - тремя автоколоннами - и по разным дорогам.

Витька с угрюмо-сосредоточенным видом рассматривал карту, а пани Юлия, стоя рядом и часто вздыхая, глядела на него растроганная, добрыми благодарными глазами, глядела с такой любовью, сожалением и печалью, словно навсегда расставалась с близким и очень дорогим ей человеком.

Целиком полагаясь на меня, Витька ни во что не вмешивался и во время погрузки не проронил ни слова. Меж тем наступала минута, назначенная приказом для выезда, и следовало подать команду, а я медлил: мне страшно хотелось еще раз, хоть на мгновение, увидеть Зосю. Но она часа полтора назад куда-то убежала со своей корзинкой и, надо полагать, до сих пор не вернулась.

Чтобы помешкать и немного задержаться, я с озабоченным видом начал проверять пулемет, установленный на треноге в «додже», и занимался им несколько минут, однако Зося не появлялась. Тогда, презирая и проклиная себя в душе за слабости и неспособность преодолеть свои чувства, я опять обошел маленькую - восемь машин - колонну, снова инструктируя командиров и водителей; затем, возвратясь к «доджу», глянул незаметно на часы: тянуть долее было невозможно.

Стоя на обочине, я в последний раз с горечью и грустью посмотрел на хату пани Юлии и, решившись, громко скомандовал:

- Приготовиться к движению!

Затем, легко прыгнув в невысокий кузов, выпрямился, слушая передаваемую в хвост колонны команду, и в ту же секунду увидел Зося.

Что-то крича, она со всех ног мчалась от хаты к нашей машине. Я мельком подумал, что ей, наверно, неловко перед Витькой за вчерашнее и, чтобы загладить свою излишнюю резкость, она решила попрощаться с ним и пожелать ему перед отъездом «сто лят» жизни, как того желали нам пани Юлия, Стефан и другие провожающие.

Задыхаясь от быстрого бега, она достигла нашей машины, но не бросилась, как я ожидал, к Витьке, а, наклоня голову, сунула мне через борт какой-то старый конверт и, показывая три пальца, что-то быстро проговорила.

- Три дня невозможно смотреть! - хитровато улыбаясь, перевел Стефан.

Я покраснел и, плохо соображая, в растерянности машинально поблагодарил и присел на скамейку у борта. А Витька, кажется, даже не обернулся.

Мотор заработал сильнее, но машина не успела тронуться, как неожиданно Зося с напряженным испуганным лицом - в глазах у нее стояли слезы! - вдруг обхватила меня руками за голову и с силой поцеловала в губы...

Я пришел в себя, когда мы уже выехали за околицу... До того дня меня еще не целовала ни одна женщина, разумеется, кроме матери и бабушки.

Первой моей мыслью, первым стремлением было - вернуться! Хотя на

минуту!.. Но где там... Как?..

Мы быстро ехали в наступающих сумерках, не включая до времени узких щелочек-фар, а полумрак все плотнел, сгущался, очертания дороги, отдельных кустов и деревьев расплывались и пропадали. Высокий чащобный лес темной безмолвной громадой тянулся по обеим сторонам, кое-где вплотную подбегая к дороге.

Настороженно глядя вперед и по бокам, я сидел на ящике у пулемета, машинально держа ладони на шероховатых ручках затыльника, готовый каждое мгновение привычным, почти одновременным движением двух больших пальцев, левым - поднять предохранитель, а правым - нажать спуск и обрушиться кинжальным смертоносным огнем на любого возможного противника.

Я запретил на марше курить, шуметь и громко разговаривать, к тому же внезапная перемена подействовала несколько ошеломляюще, и на машинах сзади не слышалось ни голоса, ни лишнего звука.

В вечерней лесной тишине ровно, нешумно гудели моторы, шуршали шины, и только в нашем «додже» молоденький радист с перебинтованной головою - он так и не пожелал уйти в медсанбат, - пытаясь установить связь со штабом бригады, как и четверо суток тому назад, упорно повторял: «Смоленск!» «Смоленск!» Я - «Пенза!» Я - «Пенза!» Почему не отвечаете?! Прием...»

Мы двигались навстречу неизвестности, навстречу новым, для многих последним боям, в которых мне опять предстояло командовать, по крайней мере, сотней взрослых бывалых людей, предстояло уничтожить врага и на каждом шагу «являть пример мужества и личного героизма», а я - тряпка, слюнтяй, сюсюк! - даже не сумел, не решился... я оказался неспособным хотя бы намекнуть девушке о своих чувствах... Боже, как я себя ругал!

Витька, прямой и суровый, недвижно сидел рядом с водителем и смотрел перед собой в полутьму, где метрах в двухстах впереди ходко шел приданный нам комбригом в качестве головной походной заставы или же прикрытия его

личный бронетранспортер. Витька смотрел в полутьму и, не переставая, мычал:
«В атаку стальными рядами мы поступью твердой идем...» Немного
погодя, очевидно вспомнив, рывком обернулся и, задев локтем штырь антенны,
схватил букет, поднесенный ему пани Юлией.

- Как на похороны! - в сердцах закричал он, сильным движением
забрасывая цветы за кювет. - Телячьи нежности, а также... гнилой
сентиментализм!..

И снова в настороженной тишине ровно шумели моторы, и радист упрямой
скороговоркой вызывал штаб бригады.

- Что там в конверте? - шепотом приставал ко мне Карев. - Давайте
посмотрим...

- То есть как это посмотрим? - заметил я строго и не без возмущения. -
Ведь сказано: три дня!..

Однако я не удержался. В тот же вечер, на первом же привале, отойдя
потихоньку в сторону, я накрылся в темноте плащ-палаткой и при свете
фонарика распечатал заклеенный хлебным мякишем конверт. В нем оказалась
завернутая в бумагу фотография Зоей - наверно, еще довоенный снимок красивой
девочки-подростка с ямочками на щеках, короткими косицами вразлет и
ласковым, наивно-доверчивым выражением детского лица.

А на обороте крупными корявыми буквами, размашисто, видимо, второпях
было написано: «Ja cie Kocham, a ty spisz!{6}..»

Города действительно берут смелостью. Витька - Герой Советского Союза
Виктор Степанович Байков - первым из нашей армии ворвался на улицы Берлина и
навсегда остался там под каменным надгробием в Трептов-парке... А вот чем
покоряют женщин, я и сейчас - став вдвое старше - затрудняюсь сказать;
думается, это сложнее, индивидуальнее.

Был я тогда совсем еще мальчишка, мечтательный и во многом несмышленный
- это было так давно!.. - но и по сей день я не могу без волнения вспомнить
польскую деревушку Новы Двур, Зосю и первый, самый первый поцелуй.

Вижу ее как сейчас: невысокая, ладная и необычайно пленительная, раскачивая в руке корзинку, легко и ловко ступая маленькими загорелыми ногами - как бы пританцовывая, - она идет через сад, напевая что-то веселое... оскорбленная, пунцово-красная, разъяренная сидит за столом, высоко вскинув голову и вызывающе выпятив грудь с католическим серебряным крестиком на цветастой блузке... Представляю ее себе необыкновенно живо, до мелочей, до веснушек и точечной родинки на мочке крохотного уха... Представляю ее себе то по-детски смешливой и радостной, то строгой и до надменности гордой, то исполненной удивительной нежности, кокетства и пробуждающейся женственности... Вижу ее и в минуту расставания - напряженное, испуганное лицо, дрожащие, как у ребенка, брови и слезы в уголках глаз...

Сколько раз за эти годы я вспоминал ее, и всегда она заслоняла других... Теперь она, наверно, уже не та, должно быть, совсем не такая, какой осталась в моей памяти, но представить ее себе иной, повзрослевшей, я не могу, да и не желаю. И по сей день меня не покидает ощущение, что я и в самом деле что-то тогда проспал, что в моей жизни и впрямь - по какой-то случайности - не состоялось что-то очень важное, большое и неповторимое...

1963 г.

Примечания

{1}Противохимическая защита.

{2}Противотанковая оборона.

{3}Спасибо! Не хочу!., (польск.)

{4}Мы молоды, мы молоды,

Нам бимбер не повредит.

Так пьем же его стаканами,

Кто с нами, кто с нами!., (польск.).

{5}Ничего нет (польск.).

{6}Я тебя люблю, а ты спишь! (польск.)